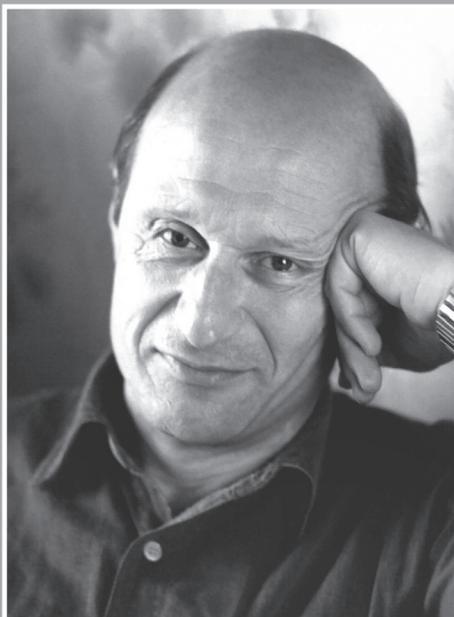


рассказ

*Александр
Мелихов*

85

Кошка

ОНА ЗНАЛА, что она милая и немного взбалмошная, но не считала это недостатком, как не считала бы недостатком никакое своё качество, помогающее нравиться мужчинам. Не всем мужчинам, конечно, по душе взбалмошность, даже милая, но таких качеств, которые нравились бы всем, вообще не бывает, а это, во всяком случае, нравилось многим. А её способность нравиться мужчинам – она называла ее «быть женщиной» – давала ей то ощущение, которое обычно доставляется уверенным выполнением профессиональных обязанностей, в общественной значительности которых человек не сомневается. Из этого вовсе не следует, что

она была плохой матерью, женой, работницей, – нет, не хуже других, – но всё это было личное, а ощущение общественной полезности давалось ей тем, что она *была женщиной*. Она была ещё и хорошим товарищем, и интересы коллектива, куда забрасывала её судьба, всегда ставила безоговорочно выше интересов остального человечества. Никаких оговорок по этому вопросу она не делала, прежде всего потому, что ей не приходило в голову, что здесь могут быть какие-то оговорки. И её любили все, с кем она работала.

Когда она работала на почте (заказная корреспонденция, до востребования, мелкие пакеты), она сразу же вос-

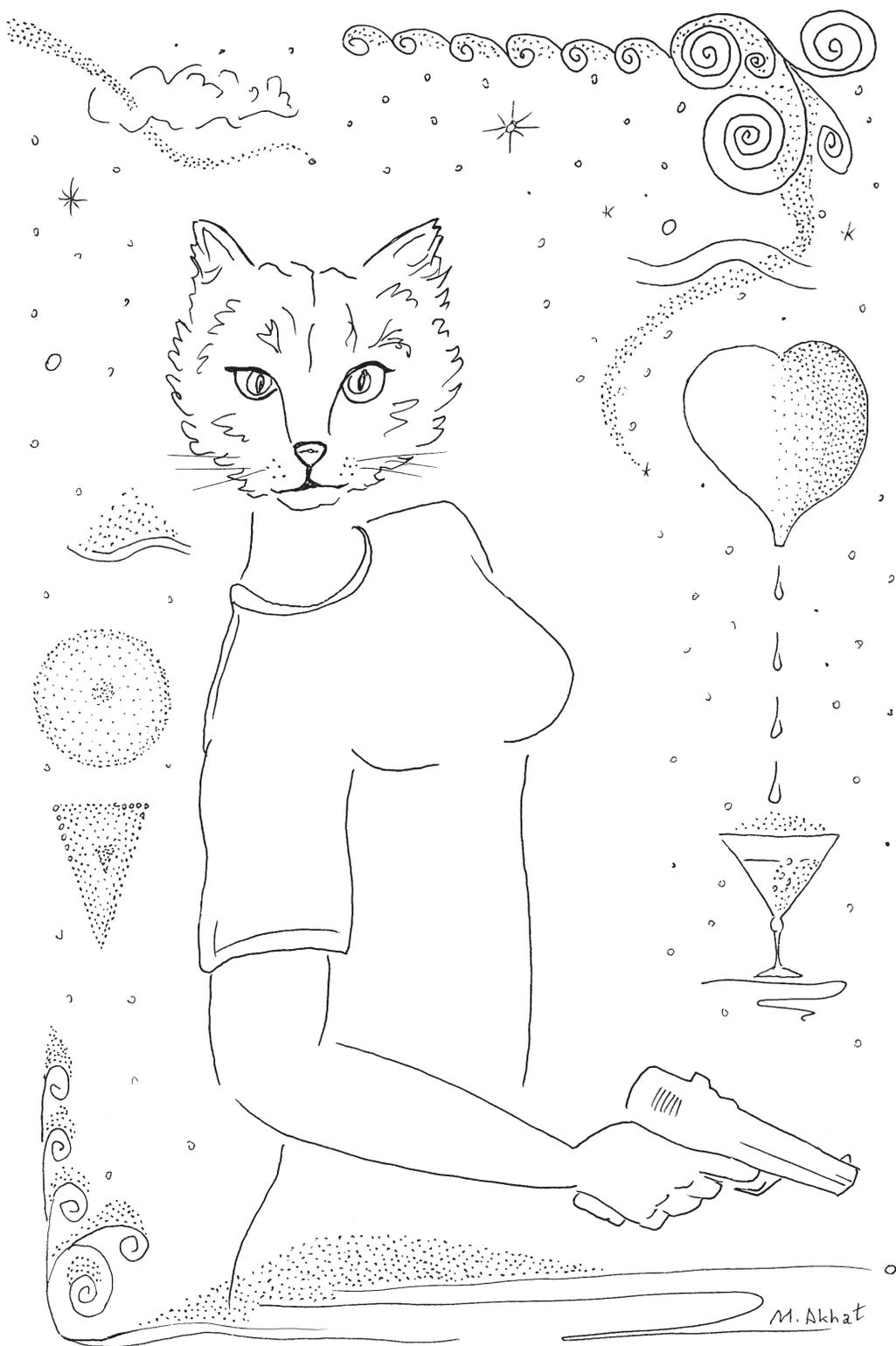
приняла общий тон отношения к клиентам, этому зловредному, тупоумному племени, которое не умеет правильно написать адрес или заполнить извещение, а туда же качает права (впрочем, с окончанием рабочего дня она снимала этот тон, как спецодежду). Хотя почта была случайной промежуточной станцией на пути к институту. И станцией неудобной. А когда она устроилась в секретариат Учёного совета ЦНИИ НХТК, то мигом научилась ставить на место соискателей учёных степеней, не умеющих заполнить анкету, принести фотографию нужного формата и в нужном числе экземпляров, составить список научных трудов и написать заявление. Ну, и всё остальное: по десять раз на дню спускаться в буфет пить кофе, каждый раз минут по сорок, притворяться испуганной, когда входит начальство, а вообще быть с ним фамиллярно-кокетливой и т. д. Это тоже было чем-то вроде спецодежды. Она никогда не лезла со своим уставом в чужой монастырь, но вписывалась в него естественнее, чем мать-игуменья.

И любой из её друзей, приходя к ней на кого-то пожаловаться, вполне мог рассчитывать на помощь и самое искреннее сочувствие, и самую пылкую ненависть к тем, на кого он жаловался. И мог не опасаться, что она начнёт разводить бодягу, хотя бы про себя, что и те в чём-то, может быть, правы, их тоже надо понять и т. п. Этого можно было не опасаться. Нужно было только попасть в число её друзей, а это было и легко, и трудно. То есть одним легко, а другим трудно. Чтобы быть включенным в число её друзей, нужно было стать её соседом по квартире, если речь шла о другой квартире, по комнате в доме отдыха, если речь шла о другой комнате, и даже просто сотрудником одного НИИ, если речь шла о другом НИИ. Ну и, конечно, можно было быть сестрой её подруги или подругой её сестры. Но встречались и исключения. Анатолий был включён в число её друзей уже через три дня после знакомства.

Он вёл с ней себя именно так, как должен вести себя мужчина с нравящейся ему женщиной: не заводить неуместных серьёзных разговоров, постоянно шутить, даже подшучивать, но непременно ласково и над слабостями чисто женскими – ну, скажем, некоторой наивностью, доверчивостью, чрезмерным мягкосердечием, робостью; потом изъяслять постоянную готовность выполнить любое желание, ввязаться в драку или нарвать цветов на клумбе, а женщина, конечно же, должна всего этого пугаться и удерживать. Вообще, от женщины зависит желать лишь такого, чтобы у мужчины не исчезло желание изъяслять готовность служить или пугать всякими экстравагантностями.

С ним всегда было приятно и весело, и никак нельзя было предположить, что он будет приходить с работы театрально мрачным, набычась есть, навалившись локтями на стол, тяжело ворочать ложкой, изображая кого-то огромного и неповоротливого, хотя вовсе не велик и вполне поворотлив, и потом искать случая с удовольствием сказать о себе: «Мы, Доронины, такие... Батя тоже, бывало, пока не поест – лучше не подходи». Всякая его черта, которую он считал фамиллярной, не подлежала ни обсуждению, ни исправлению, а разве что констатации, и притом удовлетворенной: мы, Доронины, такие. Когда у них заходил разговор, почему чей-то сын украл игрушку, чья-то дочь плохо учится или хорошо играет на пианино, обязательно начинали выяснять, «в кого» он (она), и успокаивались, когда находили какого-нибудь троюродного дядю, который умел играть на гармошке, или тётю-воровку.

То, что Анатолий называл покойного отца батей, было очень симптоматично: это указывало на старинный, устойчивый, патриархальный, здоровый, почтительный, несколько тяжеловесный, зато веками выверенный уклад: у них, Дорониных, так. Во главе отец – ОТЕЦ – суровый, мудрый и справедливый, поскольку справедливым здесь и называется то, что им одобрено. Все



остальные тоже занимали определенные места – и места эти были недосыгаемо высоки для посторонних, потому что это были места в семействе Дорониных. Каждый член семейства являл одну из сторон неисчерпаемого доронинского духа: младшие сёстры отца были рафинированными интеллигентками, – знаешь, *настоящими, старыми* интеллигентками; а их брат, батя покойный, – такой, знаешь, крепкий мужик, человек колоссальных способностей, эрудиции, и при всём том такая какая-то в нём кондовая жила, хватка. Это иллюстрировалось выразительным сжиманием пальцев в кулак. Старшая сестра, простая русская баба, – ну, знаешь, бесконечно добрая русская баба, столько пережила, сын пьяница, муж бросил, а у неё всегда хорошее настроение, ни о ком плохого слова, всех понимает и, между прочим, во всем разбирается не хуже ваших докторов (это об Учёном совете ЦНИИ НХТК). Сын её – способнейший парень, но забубённая головушка, каких в прежние времена немало хаживало по Владимирке. Ещё кто-то – поэт, строки с такой неудержимой силой рождаются в нём, что ему стоит известных усилий говорить прозой. Ну и так далее, в том же духе. Если качество доронинское – значит, следует им восхищаться, предварительно вдесятеро преувеличив: кротость и буйство, пьянство и трезвость, скупость и щедрость, бедность и богатство, темнота и образованность. Склонность к восторженному аханью именовалась у них поэтическим талантом, склонность к сплетням – талантом прозаическим.

На свадьбе были только родственники (а со своей компанией это событие обмывалось уже месяца два-три). Ей, глупой, не терпелось познакомиться поскорей с этими замечательными людьми. Такая была дурёха: ей нравилось, что он, инженер, у которого интересная творческая работа, старается завоевать её, секретаршу, занимающуюся подшиванием бумаг. Она ещё совсем мало поработала в ЦНИИ НХТК и только собиралась поступить в заочный Политехник.

На свадьбе она глядела на них во все глаза, замирая от восторженной любви к ним, стараясь, чтобы они поскорее увидели это и могли принять её к себе. И они увидели это: с первого же дня все стали держаться с ней снисходительно. Даже впоследствии, когда она приняла с ними ровный бесстрастный тон – служба в Учёном совете не прошла для неё даром, – только самые умные и тактичные из них тоже стали с ней холодны, остальные так и оставались снисходительными. Родители её на свадьбе чувствовали себя скованно, хотя отец, немного подвыпив, пытался, как всегда, почитать своего любимого Некрасова. Он несколько раз начинал: «Меж высоких хлебов затерялся...», но все шумели; так он и замолчал ни с чем. Ей и жалко его было, и совестно: как он не понимает, среди каких замечательных людей находится, выносит сюда семейные развлечения. Потом разорвать себя была готова за это!

Зато стихи родового поэта, написанные, по его словам, здесь же, о том, как нужно трудиться рука об руку со спутником жизни, были приняты с триумфом. Хотя она потом слышала разговор двух интеллигентных тёток; одна гудела низко: «И посмотри, какая возвышенная тема, какая разработка! Ему нужно вступить в какое-нибудь творческое объединение, обязательно нужно вступить», а другая пропела вполголоса: «Милая моя, рифмоплётствовать...», – она остановилась, давая осознать всё богатство стилистических оттенков этого слова, и закончила кратко и решительно: «Всякий может!» Она, пожалуй, была там самая умная. Хотя тоже не бог весть.

Интеллигенты! У себя, в Учёном совете, она видела настоящих интеллигентных людей, так у них интеллигентность сразу видна: как они встают, когда входит дама, как предлагают стул, как кладут шоколадку на стол и разговаривают о загрязнении среды, о Бермудском треугольнике, о преферансе – есть такая интеллигентная игра, – о шахматных задачах, и всех гроссмейстеров

называют по именам. Степан Сергеевич – даже по тому, как он внушительно хромает – опускается и поднимается, – видно, какой это интеллигентный человек; видно даже по тому, как у него отвисает нижняя губа, – некоторые нарочно отвешивают нижнюю губу, чтобы казаться умней, а у него она сама такая. Председатель Совета, доктор, лауреат, почти каждую фразу начинает с «знаете ли», а как он с ней, секретаршей, почтителен и шутит очень почтительно, говорит с ужасно потешным вздохом: «Ах, будь я на тридцать годков моложе!»

Интеллигентный человек и есть интеллигентный человек.

А здешние интеллигенты только и толкуют, чей дом в их деревне был ближе к доронинскому: Усачёнка или Сеньки Лабутина. Да ещё на неё косятся: достаточно ли она прочувствовала свою удачу – присутствовать при обсуждении исторического события, когда обсуждающие – сами его участники и творцы! Интеллигенты! Оно и видно.

Она как-то спросила у Степана Сергеевича, с намёком, почему это некоторые люди всё, что у них есть, возносят чересчур уж высоко. Степан Сергеевич ответил: «Знаете ли, Наташенька, человек так уж устроен, что должен гордиться тем, к чему он причастен. Если нет возможности гордиться делом, будет гордиться глупостями. И, конечно, уозость кругозора. Помните: «Так думает иной затейник, что он в подсолнечной гремит, а сам дивит один свой муравейник».

Но её такое объяснение не устроило: «Почему я не горжусь своими? Какой у меня особенный кругозор! Отец у меня на его автобазе занесён в Книгу почёта и стихов знает, как никто среди шоферов. И на почте я всех превосходила по развитию. Ну и что? Я же не занашусь». Степан Сергеевич ответил: «Вы, Наташенька, это вы. Вы ко всему на свете причастны». И уморительно вздохнул: «Эх, будь я годков на тридцать помоложе!» А потом она уже сама подумала, что всегда привязывалась к

тем, с кем ей приходилось близко соприкасаться, – не ко всем одинаково, но всё же, – стало быть, в каком-то смысле считала их выдающимися, но готова была включить туда и новых, а у них, Дорониных, этот круг был замкнут пределами родовой общины. Вот и всё.

Но тогда она, дурёха, тарачила на них глаза. Восторженно слушала рассказ интеллигентной тётки о каком-то просмотре иностранного фильма, куда та непонятно как пробралась, и не догадывается даже, что это скрывать надо, а не хвастаться: «Ужасно! Сплошная апология цинизма и насилия, и беда в том, что это по-настоящему талантливо. Так и хочется взять бритву и самой резать носы и уши. После встретила в подъезде мужчину – просто схватилась за сердце. Он, наверно, думал – сумасшедшая».

В разгар торжества решительно вошёл коренастый бородач с женой, которая постоянно задирала нос – посмотрела бы на себя в профиль.

– Я из Дома быта – вы драку не заказывали? – провозгласил бородач.

Анатолий подскочил к нему, взял за плечи, посмотрел в глаза и порывисто обнял. Она решила, что бородач специально прилетел на свадьбу на вертолёте с острова Рудольфа. Тем более что с его конца стола то и дело доносилось: «пересёк на байде», «все трое замёрзли», «нашли шапку и кусок кормы», «обшарили всё побережье». Как тут догадаться, что он вот уже пятнадцать лет тихо-мирно работает технологом в проектно-институте и зачем-то звонит Анатолию по три раза в неделю и удивляется, что в два часа дня Анатолий на работе. Его, казалось, можно было узнать даже по телефонным звонкам – решительным, настойчивым и бесцеремонным. А пока он, пророкотав: «За столом я всегда вспоминаю песню «Я люблю тебя, жизнь» – это была его всегдашняя шутка, все его шутки были старые, много раз проверенные, – втиснулся за стол и с талантливейшим пьяницей – забубённой головешкой – при-

нялся резать курицу. Оба блудливо ухмылялись, приговаривая: «Напрасно думают, что главный интерес в ножках, как раз выше и начинается самое главное. А теперь пройдемся по грудям», — и помирают со смеху.

Покончив с курицей, бородач сердито вытребовал тост и провозгласил:

— Из медицины известно, что в жизни бывают не только солнечные дни, но и негативные эмоции. Но воздействие стрессов компенсируется за счёт положительных эмоций. Так выпьем же за то, чтобы стрессы вашей жизни всегда компенсировались положительными эмоциями. И помните (он залукавился), что Менделеев был семнадцатым ребёнком у своего отца.

Потом бородач, воспользовавшись первой же паузой, запел то, что пел и пять, и десять лет назад, то, что пели у них в институте, — и больше уже не умолкал; старики потихоньку разбрелись, кто мог, старались подпевать, и она, дурёха, подпевала, и у неё слёзы наворачивались, когда пели о бесконечных полярных зимах и о том, как грустно бывает идти мимо подъезда, из которого доносятся переборы уже не твоей гитары, — там уже другие мальчишки обнимают уже других девчонок, а Летучий голландец скрылся в тумане, и Синяя птица растаяла в небесах, и вообще перевелись флибустьеры и мушкетеры — единственные источники поэзии в этом скучном мире.

Под самый занавес, когда уже как следует поддали, мужчины, выстроившись друг за другом, стали маршировать под «Прощание славянки». Талантливый пьяница мерно чихал бесконечным пьяным чихом, и она боялась, как бы с ним не вышло какого-нибудь конфуза, Анатолий и бородач в такт ему топали, и было ужасно похоже на паровоз, чих и стук, но лица у них были сурово-проникновенные. Иногда бородач замечал её и каждый раз кричал сквозь грохот барабанов: «Не забудьте, что Менделеев был семнадцатым ребёнком у своего отца».

Собственно, она готова была бы восхищаться ими и по нынешний день, но она полагала, что станет среди них своей, как становилась своей всюду, и будет восхищаться, так сказать, изнутри, но оказалось, что все вакантные места выдающихся людей были здесь разобраны до её появления, а она и не крестьянка, и не дворянка, не мать шестнадцати детей, не поэтесса, и не хулиганка, и ей предоставлялась — счастливая, по их мнению, — возможность восхищаться ими снаружи. Она долго старалась, но ведь всё имеет конец.

Когда они с Анатолием остались вдвоём, он зачем-то подозвал растрёпанную кошку и начал валять её по постели, опрокидывать на спину, щекотать. Кошка у них, конечно, тоже была необыкновенная, необыкновенного ума, красоты, и в пороках была широка по-доронински — распутна, как Мессалина. И имя у неё было необыкновенное и очень остроумное — Щётка. Он с нежной фамильярностью валял по постели вяло сопротивлявшуюся Щётку, у которой белый мех сделался синим от помоек и чердаков, и разливался над ней соловьем, заходился до экстаза, вместе с тем не теряя мужественного лица и мужественного голоса: «Ух ты, моя Щётинуленька, Щётинулюлюлюшенька, потаскушка ты растакая-расперетасякая, ну скажи, ну скажи, ну признайся, ведь всех котов переотбивала, ведь всех, ты смотри, ведь всё понимает, ведь морденция у такой кошенции умнеющая, ну посмотри, ну посмотри, какая красотка, а? Ну ведь красотка, самая что ни на есть раскрасотка?»

Она пыталась восхищаться кошкой и робко протянула руку — тогда она старалась ко всем к ним подладиться, — чтобы её погладить, и вдруг кошка, окрысившись, тяпнула её за руку. Да, да, кошка окрысилась! Это действительно была истинно доронинская кошка. Она отдернула руку — от испуга у неё заныли пальцы — и, ища защиты, посмотрела на Анатолия. Он захохотал так радостно, словно кошка и впрямь

отмочила бог знает какую остроумную штуку: «Что ты! Это наша, доронинская кошка, ей пальца в рот не клади, что ты, не-ет, даже не думай», – и отмахивался обеими руками, убеждая оставить эту нелепую мысль. И она не крикнула «брысь!», не сбросила с осквернённой брачной постели эту распутную тварь, а старалась тоже улыбаться, хотя готова была зареветь от обиды.

Мальчишка – его называли Васей, в честь покойного деда, хотя она мечтала о Денисе или Максиме, ну хотя бы Кирилле или Артёме, – родился замечательный, с весёлыми голенькими дёснами. Анатолий называл его «сын» и «наследник», играл с ним примерно, как с кошкой, но солиднее, приговаривая: «Наш парень, доронинская порода», хотя и дураку было ясно, что Васька похож на её отца, особенно сзади, когда его купают: редкие волосы и короткая шея в складках. Слава богу ещё, что родился он не раньше, чем положено, а то её акции совсем бы упали. *Они* всегда так, если с *ними* по-хорошему. Анатолий потом ей признавался, что, если бы она в тот раз ему уступила, он бы на ней не женился. Вот как, оказывается. А она устояла тогда, в основном, из-за того, что боялась, что кто-нибудь войдёт. Вот так *им* уступать!

Возились с Васькой вдвоём со свекровью, и это для неё было мучительно. То, что ей казалось порядком, свекровь считала беспорядком. Конечно, можно так считать, если всю жизнь просидела дома, ни дня не проработавши! Ничего такого она тогда думать ещё не смела, наоборот, очень уважала эту, по словам Анатолия, умнейшую женщину, даже побаивалась, особенно из-за её постоянной тонкой полуулыбки. Эта полуулыбка не давала увидеть совершенно ясную вещь, что перед ней такая же дура баба, как и она сама, даже более бестолковая от тридцатилетнего домашнего сидения. Свекровь не знала толком даже, как отправить посылку или закомпостировать билет. Или, скажем, заказать фургон для перевозки мебели. Суетилась и кудахтала, как ку-

рица. Зато дома постоянно сдерживала тонкую улыбку.

Свекровь она сильно тогда уважала, но не любила, хотя скрывала это и от самой себя. А поскольку она не имела пагубной привычки копаться в себе, то и скрыть что-либо от самой себя ей было совсем не сложно – достаточно было не объявлять об этом вслух. И она терпела, когда та переключивалась заново только что аккурратно сложенные ею пеленки или выворачивала пододеяльники, чтобы выковырять набившуюся в уголки пыль. Смеяться некому было!

Рубашка, надетая Анатолием дважды, представлялась свекрови чем-то чудовищным. А она боялась ссор – не привыкла к ссорам среди своих. Когда она ставила на место какую-нибудь бабку на почте или зарвавшегося кандидатишку в Совете, за ней стоял коллектив, – она билась не за себя – за всех. А вступить за себя одну, без поддержки, как-то робела, сомневалась, что ли, в безоговорочности своих справедливых требований. Среди своих она привыкла ко всем относиться хорошо, оказывать разные мелкие услуги. А к такому она не привыкла. Когда они со свекровью молча пили чай на кухне, она вздрагивала, если у нее с ложки с неуместным весёлым бульканьем падало в чай варенье.

Неправильно даже сказать – боялась ссор; не то что у нее было желание поссориться, а она его сдерживала, нет, его-то как раз и не было, только становилось грустно, и она удваивала свое старание относиться к свекрови с уважением.

Первой, к кому она осмелилась отнестись критически, была кошка. Сначала она только испытывала тайное злорадство, когда Анатолий, восхваляя красоту кошки, упоминал о её распутстве. Именно этим он объяснял, что другие кошки приносят котят куда реже. Хотя, казалось бы, чему радоваться – придется их чаще топить, чего ж хорошего. Но им лишь бы рекорд – лишь бы что-нибудь доронинское было больше всех. А если оно и не больше, всё рав-

но можно объять, что больше. «Наша кошка – первая шлюха в городе». Это с восторгом. «Ну, зато и красotka».

Она с брезгливым любопытством всматривалась в выражение кошкиного лица, пытаясь понять, догадывается ли та, куда исчезают её дети, и, если да, почему продолжает рожать обречённое на смерть потомство, почему продолжает таскаться по своим чердачным гульбищам. Но кошкино лицо всегда выражало одно и то же – страдальческую мольбу: умоляю, скажите, что это неправда. Однако всё это было чистое притворство. Наедине с ней кошка часто канючила чего-нибудь поесть – и она не выдерживала, давала, – но если кто-то приходил, кошка начинала её избегать с бесстыднейшим равнодушием. А наедине иногда пробовала даже приласкаться, начинала тереться о её ноги, но тут она уже выдерживала характер, её гордости всё-таки хватало на то, чтобы не заискивать хотя бы перед кошкой: Анатолий совершенно серьёзно советовал ей добиться кошкиного расположения, а то мама не любит тех, кого не любит Щётка. Смеяться некому! Ещё к кошке она должна подлизываться!

С кошки и началось её внутреннее освобождение. Слушала как-то диалог на кухне между свекровью, готовившей котлеты, и кошкой, кланчившей у неё мяса. (А кланчить она умела, иногда даже не мявкала, а только жалобно разевала рот, выцарапываясь по столу на задние лапы. Целая система.) Свекровь и к кошке обращалась со сдержанной снисходительной улыбкой, и это была, наверно, единственная ситуация, где эта улыбка была уместна:

– Ну? Что тебе нужно?

– Мяа!

– Мяса хочешь?

– Мяа!

– Вон же ты ещё вчерашнюю кашу не съела.

– Мяа!

– Что ты заладила одно и то же!

Съешь сначала кашу, а тогда уж проси мяса.

– Мяа!

– Бессовестная ты, бессовестная. Ну, на, если тебе не стыдно.

Как же, дождёшься, будет ей стыдно. И тут-то ей и пришло в голову: да что такого особенного в этой кошке! Это было начало. Слово было произнесено. И она с наслаждением шептала: «Старая дура!», когда кошка вдруг кидалась догонять упавшую катушку, – кидалась с мрачной рожей, словно сама себе удивлялась.

Конечно же, на работу она постаралась выйти, как можно раньше. Анатолий заметил, что её зарплата погоды не делает, но это было не возражение, а сообщение чисто информационное. Наверно, всё же понимал, что её денежки заметно улучшат финансовый климат. Остальное шло как раньше. Родственники мужа при встречах по-прежнему старались усилить в ней восхищение их семейством (именно усилить, так как в наличии этого восхищения они были уверены), но только укрепили её в оборонительной позиции: да кто они такие, что они из себя строят! Оказалось, что у каждого из них масса изъянов, в лице, в фигуре, в одежде, в уме, во вкусе, в жилищных и семейных условиях и зарплате. Последняя бывала и постыдно малой, и незаслуженно большой.

В то же время уважение к себе росло в ней – точнее, росло то чувство, которое обычно даёт уверенность в выполнении профессиональных обязанностей, в важности которых человек убеждён; а росло оно в ней потому, что она нравилась всем членам Учёного совета, особенно на банкетах – там она была нарасхват, – а председатель определённо оказывал ей знаки внимания. Поэтому в той табели о рангах, согласно которой, по её представлениям, распределялось право на уважение – в её женском отделе, конечно, – она занимала место, во всяком случае, гораздо выше кандидата наук в мужском отделе, – что-то возле доктора. Это даже мешало ей регулярно сдавать экзамены в Политехнике, благо там можно учиться хоть двадцать лет – не

забирай только документы. Ведь она и так была чем-то вроде доктора – в той степени, в какой доктор питал к ней слабость. Вообще, жёны ставят себя на то место женского отделения, на котором стоят их мужья в мужском. Так ей казалось. А в ней старались вызвать восхищение, указывая на двоюродного брата Анатолия, доцента строительного института. Или на поэта, на слова которого в каком-то Доме культуры сочинена какая-то праздничная песня и исполнена каким-то ансамблем того же Дома той же культуры. Смеяться некому.

Гонор их она изучила. Семейство своё они, конечно, обожали, да только как фабричное клеймо, которое на всех на них стоит от рождения. Как же не превозносить такое клеймо, из-за которого ты без всяких заслуг становишься выше всех? Выдумали же: сами объявили свою фамилию клеймом прославленной фирмы и сами же верят, что она и вправду клеймо прославленной фирмы. И ещё удивляются и бешутся, что кто-то может в это не верить, что кто-то не видит в клейме «Сделано у Дорониных» гарантии высокого качества. Да, да: имя они ценят – оно стоит на клейме, которое стоит у них в паспорте – Доронин (а) – нужно подчеркнуть, но для члена своей обожаемой фамилии никто пальцем не пошевелит. Двести раз убеждалась. И чем кто больше предан фамилии, тем меньше он делает для её членов.

Разумеется, она напрасно поверила в этот закон. По крайней мере, он нуждался в гораздо более тщательной проверке, но она поверила в него, да ещё находила ему объяснения: всякому хочется показать, что он не круглый эгоист, есть что-то, чему он предан совершенно бескорыстно. Ясно, что обойдётся дешевле быть преданным фамилии, чем человеку, потому что фамилия никогда ни есть ни пить не попросит. И денег взаймы ей не надо давать. Конечно, ещё лучше, когда фамилия эта – твоя собственная.

Открытие этого закона и его всевозможных вариаций привело её к намного

более безотрадному взгляду на жизнь, чем тот, что вытекал непосредственно из её опыта, а безотрадный взгляд придал её внешности и манерам значительности, которой ей недоставало прежде. Теперь на заседаниях Учёного совета более серьёзные люди стали задерживать на ней взгляд, когда она подавала Степану Сергеевичу анкету или отзыв ведущей организации. Беседуя со Степаном Сергеевичем на общие темы – он любил с ней поговорить, – она часто со вздохом констатировала, что чем человек лучше, тем хуже ему живётся. Степан Сергеевич не соглашался. Он утверждал, что людям живётся плохо как раз из-за того, что они недостаточно хороши. Их часто огорчает то, что хорошего человека не огорчило бы, они поступают так, как хороший человек не поступил бы, а это навлекает на них новые огорчения, в том числе собственное раскаяние. Впрочем, если они поступают как хорошие люди, то потом тоже раскаиваются, потому что хорошие поступки, которые, заметьте, всегда требуют каких-то жертв, приятно совершать только хорошим людям, а для не очень хороших воспоминания о понесённом ущербе могут оказаться просто мучительными.

Ей было приятно, что вот он и доктор, и лауреат, а жизнь она знает лучше его. Хотя какой серьёзный разговор может быть с мужчиной, которому ты нравишься как женщине. Ей, кстати, нравилось, имея дело с членами Учёного совета, играть роль малограмотной, но многоопытной мудрой женщины из народа, наделённой могучим здравым смыслом и практической сметкой, и нравилось выдумывать про них, что они люди чрезвычайно учёные и интеллигентные, но в делах житейских наивные, чрезмерно мягкие и рассеянные, хотя ничего подобного большинство из них не демонстрировало, скорее наоборот.

Обладание новыми, пессимистическими взглядами на человеческую природу изменило её поведение, придало ей уверенности, даже какой-то доволь-

но утончённой гордыни. Впрочем, это проявилось только в семейном общении, потому что сфера общих взглядов и сфера поведения были у неё достаточно разграничены, – но для семейного употребления это было как раз то, что нужно. Так что самые тактичные из её новых родственников в скором времени стали с ней холодны, ну а менее тактичных было ничем не пронять. Но это было не так уж важно. Их она видела редко. Важен был свой дом – дом, в котором она жила. Именно в нём следовало искоренить доронинщину.

Главного идеологического противника она подозревала в свекрови – противника подпольного, поскольку вслух та ничего такого не говорила, но её сдержанная полуулыбка позволяла догадываться о многом. Ещё больше открывалось в том, как, садясь, она ставила перед собой стул, – соли у неё откладываются, – и клала на него вытянутую ногу, не заботясь, не видно ли чего из-под халата. Мы, мол, Доронины, ни в ком не нуждаемся! И сама-то ведь не из них, и тоже не стала у них своей, – в её родне нет ни одного выдающегося человека, – так и осталась швейцаршей при входе, но своими барами гордится больше, чем они сами. И её они хотели бы сделать такой же холопкой!

Однако против свекрови можно было пользоваться лишь подпольными, косвенными, постепенными мерами. Открытый же враждебный дух для неё сосредоточился в кошке, и теперь, при попытках кошки приласкаться, она не ограничивалась холодностью, а отталкивала её ногой, – знамя вражеской державы.

Она довольно долго собирала материал для обвинительного заключения по делу кошки, именующей себя Щёткой, и исподволь передавала мужу: кошка оставляет всюду ключья шерсти, а Васька её тащит в рот, ночью кошка её будит, слоняясь по квартире или царапаясь в окно (они жили на первом этаже), и она всегда пугается, потому что кошка, стоящая за окном на задних лапах, прижатая к стеклу оскаленной

мордой, похожа на привидение. В этом месте она чуть было не испортила дела, потому что невольно засмеялась, но своевременным усилием превратила смех в рыдание, чем вызвала недоумение Анатолия, так как предыдущий разговор вёлся в более достойном тоне. В его обращении с ней вообще начинало проглядывать недоумение и даже робость. Ей бывало даже жалко его, тем более что он совершенно не понимал, что, собственно, происходит, что и отчего. Но считаться с этим было нельзя. И она печально сообщала ему, что кошка норовит забраться в Васькину кровать, а однажды она видела, как кошка, привстав на стуле на цыпочки, быстро, но без лишней спешки пила из Васькиной чашки чай, который был оставлен на кухне для охлаждения. Ведь она может его заразить чем угодно, мы себе этого и вообразить не можем.

Анатолий иногда, кажется, не верил, иногда сердился на неё, но в целом поддавался: меньше валял кошку и причитал над ней, уже не находил её красавицей и пару раз даже гулко отлупил её, тыча носом в Васькину кровать. В ней всё холодело, когда он бил кошку, но сдаваться было нельзя. После лупки кошка казалась крайне изумлённой и изумлённо и брезгливо облизывалась. Однако меры Анатолий предлагал все негодные: чаще подметать, следить, чтобы у кошки всегда была вода (она ещё и за этим должна следить!), становился на сторону кошки, а не жены. А как-то даже сказал примирительно (примирительно говорить такое нахальство!):

– Конечно, она для всех нас обуза (признал-таки), но она ведь почти член семьи. Она батю покойного каждый день выходила встречать после работы. Да она же и так скоро сдохнет. Ну, потерпим ещё немного.

«Потерпим» – это она потерпит. И что за постановка вопроса: кошка – член семьи? Кошка член, а она не член? Она, кажется, сама сдохнет раньше кошки. Иногда её охватывало

бешенство, но она сдерживалась. Она желала навести порядок в своём доме, а не сломать его.

А кошка тем временем взялась изводить её не на шутку. Когда она ела, кошка приходила на кухню и начинала надрывно кашлять, давиться, отхаркивать, припадая на передние лапы. Она каменела от бешенства и отвращения и, даже выгнав кошку за дверь, есть уже не могла. А при муже эта притвора никаких таких концертов почти не устраивала, бродила себе с лицемерной унылой мордой, выражавшей уже не «умоляю, скажите, что это неправда», а «да, да, я знаю, что это правда». Мерзкая, распутная лицемерка! Вот носить котят с завидной аккуратностью – на это у неё здоровья хватает. Снимает два урожая в год – как в Индонезии.

Однажды, когда она в одиночестве обедала на кухне (свекровь была в доме отдыха, Анатолий на работе, она сидела с приболевшим Васькой, – он только что заснул), вошла кошка, – уж само собой разумеется, когда она ест, ни раньше и ни позже, – и, припадая на передние лапы, начала корчиться, издавать рвотные звуки, волнообразно изгибаться, – обед, разумеется, пришлось прервать, – и наконец извергла что-то серое, влажно поблескивающее, аккуратно уложенное на линолеумном полу, напоминающее свежие куриные потроха. Когда она, содрогаясь от омерзения, приблизилась к этому с совком и газетой, она увидела, что серое и блестящее оцетинилось множеством тонких, чуть толще булавок, червей, поднявших крошечные головки и, колеблясь, прислушивавшихся к чему-то.

Пора сомнений миновала. «В конце концов, у меня есть долг перед сыном», – произнесла она. От всего происходившего и ещё больше от предстоящего она сообщала хуже, чем обычно, но всё-таки смогла убедить себя, что именно долг перед сыном движет ею. Поскольку она не имела пагубной привычки копаться в себе, ей было несложно убедить себя в чём угодно: достаточно было объявить об этом вслух.

Ещё давно в глубине сквера, сравнительно недалеко от её ЦНИИ, она обнаружила длинный одноэтажный дом с вывеской, которой она в точности не помнила, что-то вроде «Ветеринарная станция», но это было и не важно. Она и без того знала, что это было как раз то, что нужно.

Анатолию говорить она ничего не собиралась, – мало ли кошек каждый день попадает под машину. Да и вообще – разве я сторож брату моему меньшему! Конечно, победа была бы убедительнее, если бы муж сам дал разрешение, но не стоит зарываться. Видно, что он поколеблен, назвал кошку обузой – и достаточно.

Утомлённая кошка легла в сумку без малейшего сопротивления.

День был довольно морозный, но до того солнечный, что временами казалось, будто утоптаный снег начинает чернеть и дымиться, как весной. И проскальзывание сапог по нему было не сухое – в нём было что-то масляное, по крайней мере пластилиновое, но пластилина отлично размятого. И она, в прошлом большая охотница до лыжных прогулок (конечно, в своей компании), разумеется, оценила бы скольжение, но ей было не до того. Ей давно уже было не до того. Она шла по тропинке через оставленный среди новостроек участок леса: так было короче, – но она шла так не потому, что короче, а потому, что всегда так ходила.

Тропинка вдруг спружинила: она наступила на хлипкий, засыпанный снегом дощатый мостик через засыпанную снегом канаву и машинально вздрогнула, – она каждый день машинально вздрагивала на этом месте. Отягчённые снегом ветви елей обвисали тяжкими снеговыми гроздьями, кистями, а те, что сумели не согнуться, походили на мохнатые развёрнутые вееры. Берёзки были почти голые, только на развилках ветвей снег кое-где был небрежно разбросан легчайше взбитой пеной. На сосне, совсем возле тропинки, нежная, как капроновый чулок, оранжевая кожура потела на солнце бисерной влагой,

хотя чувствовался морозец. Ветки были в снегу, но кое-где из-под него выглядывала неожиданно яркая для зимы весёлая зелень.

Но ей давно уже было не до красот природы. Она, собственно, даже не вполне отдавала себе отчёт, что сейчас зима. Ей давно уже было не до того, чтобы задумываться, зима там или не зима. Она надевала зимнее пальто, и счёты с зимой на этом были покончены. Но в проскальзывании подошв по снегу было что-то весеннее, и ноги сами скользили снова и снова, как будто ожидая весеннего вазелинового проскальзывания.

Кошка молчала, но возилась в сумке так, что сумка пружинила у неё в руке. Когда она вошла в приземистое одноэтажное здание в глубине сквера, она едва дышала и почти уже ничего не соображала. Помнила только, что это называется деликатно – «усыплять».

– Это же не наш район, – вмешалась другая женщина, когда она назвала свой адрес.

Другая женщина тоже была в белом халате, но почему-то напоминала не врача, а, скорее, кладовщика, – после оказалось, что халат у неё надет поверх ватника. Она вздрогнула от радости: «А, ну так я пойду», – но у неё ещё хватило смекалки, прежде чем повернуться к выходу, схематично изобразить огорчение. Но пожилая женщина за столом, – вот она была похожа на врача, – просительно обернулась к другой женщине, и та напустилась на неё:

– Думаете, нам приятно этим заниматься?

Но напустилась, как человек, уже согласившийся, поэтому, собственно, и считающий, что получил право напускаться.

– Зачем вы её усыпляете?

– У неё глисты, – как можно растерянее пролепетала она. – А у меня ребёнок.

Она заискивала перед ними, как могла, чтобы они простили её.

– Ну и что? Может, и у вас глисты. Себя же вы небось не усыплете?

Она издала неясный звук, прикидываясь поражённой столь оригинальным уподоблением человека животному. Женщина, убедившись, что своеобразие её взглядов на жизнь и смерть произвело ожидаемое впечатление, смягчилась и сказала примирительно:

– Думаете, нам приятно этим заниматься?

Это уже был вопрос, на который можно отвечать, и она как можно простодушнее пробормотала: «Вы ведь привыкли», умоляюще глядя на женщину, чтобы та простила её и не изменила своего помягчавшего голоса.

– Привыкли... Давай сумку.

У неё упало сердце: теперь уже не уйдёшь, – и вместе с тем от покровительственного «давай» стукнуло радостью. Может, не давать ей сумку? Она подала сумку с кошкой, без нужды суесться, чтобы её старание было заметно женщине, чтобы не исчезло из её голоса покровительственное добродушие, чтобы она не перешла на «вы».

– Иди за мной.

Женщина добродушно покрикивала, и с каждой добродушной ноткой она вздрагивала от радости, хотя почти уже ничего не чувствовала от ужаса. Не надо было отдавать сумку...

Она умоляюще, чтобы та её простила, попрощалась с женщиной за столом и чуть не расплакалась от благодарности, когда та приветливо кивнула. Но что же делать, как забрать сумку? Как? Сказать: знаете, я передумала? Или: вы меня убедили? Но на кого она будет похожа? Скажут: что вы тут концерты устраиваете! Что за фокусы! Но как быть, надо же быстро!.. Они уже подошли к сараю за домом, и женщина, лязгая навесным замком, открывала тяжёлую складскую дверь. Быстро, быстро. Сказать: знаете, я передумала. Или: вы меня убедили.

Дверь со средневековым скрежетом растворилась, она невольно взглянула внутрь и тут же подняла взгляд к потолку, продолжая видеть бетонный пол нижним неясным зрением: на полу аккуратно лежали на правом боку пло-

ские оскалившиеся собаки. Одна была какая-то породистая, гладкошёрстная. Отвернуться она почему-то не решилась, может быть, боялась рассердить женщину. Может быть, – но так-то она ничего не чувствовала, – окаменела. Женщина с насмешливым сочувствием взглянула на неё и за шиворот извлекла кошку из сумки.

Кошка висела как-то даже умиротворённо, кочетливо поджав передние лапы, аппетитно сложив губы.казалось, кошка скрывает довольную усмешку. Всё это она видела нижним неясным зрением, но, умей она рисовать, могла бы в точности изобразить всё это и через десять лет. Женщина опустила кошку в потёртый зелёный сундук, накрыла крышкой со стеклянным окошечком, ещё что-то сделала – послышался слабый электрический хлопок, – снова раскрыла сундук и за шиворот извлекла кошку. Кошка свисала удовлетворённо, аппетитно сложив губы. Запомнился её ясный, почти сияющий взгляд. Этот взгляд поразил бы её, если бы её могло что-нибудь поразить.

Женщина понесла кошку к собакам.

Когда они шли обратно, женщина несколько раз покосилась на неё и наконец сказала: «Ну, ну, не надо так. Успокойтесь». Она внимательно выслушала женщину и вдумчиво покивала. У поворота она тщательно попрощалась. Женщина протянула ей сумку. Она внимательно посмотрела на сумку и тщательно взяла в правую руку, потом, тщательно переставляя ноги, пошла по аллее к выходу из сквера.

На улице она понемногу начала оживать, начала чувствовать покалывание в щеках и руках, омертвевших до боли, слабость в коленях, в пальцах появилась крупная трясучая дрожь. Начала чувствовать внутри что-то похо-

лодевшее и сжавшееся в комочек. Она всё ускоряла и ускоряла шаг, прохожие поглядывали на неё, она не замечала. Почти не понимая, что она говорит, она шептала: «Да что же это... Как на фронте...»

Сейчас она ничего не могла бы понять, но, будь она в тысячу раз спокойнее, ей только в тысячу раз труднее было бы объяснить, как получилось, что она, которая даже пауков в ванной никогда не давила, а выбрасывала их в форточку, которой всегда нравились все и которая всегда нравилась всем, вступила бог знает из-за чего в ледяную беспощадную борьбу и дошла в ней до конца. Она, которая первой бралась за мытьё посуды при любом коллективном чаепитии. Которая ничего не покупала себе, не подумав, не нужно ли этого кому-нибудь из знакомых. Как получилось, что она, чувствуя запах корвалола, только злилась на свекровь, из-за которой в доме этот всюду пролезающий запах. Как получилось, что, когда та уходила к себе полежать, она подчёркнуто не спрашивала, как она себя чувствует, чтобы та не вообразила себе, будто она сдалась. Как у неё хватало твёрдости на заискивающую улыбку мужа отвечать рассчитанным измученным взглядом, чтобы и он сделался мрачным. Почему борьба, в которую она вступила, оказалась неизбежной и безвыходной для неё, так что, если бы она отступила, она не простила бы себе этого: уступи она хотя бы им напказ, сделай, так сказать, благородный жест – она уже через два дня начала бы жалеть об этом, и чем дальше, тем больше.

Но ни о чём таком сейчас она думать не могла, только ускоряла и ускоряла шаг, повторяя шепотом: «Да что же это... Как на фронте...»

Санкт-Петербург